

KATSER

# ФАРБЭН



умел ли ты любить на самом деле?

18+

Akat Katser

**Фарбэн**

«Автор»

2026

**Katser A.**

Фарбэн / А. Katser — «Автор», 2026

Главный герой уверен, что внутри него растёт смертельная опухоль - «Фарбэн», лишаящая мир красок. Но вместе с болезнью в нём растёт и другая зависимость: болезненная, любовь к возлюбленной. Чем сильнее он теряет её, тем отчаяннее цепляется за воспоминания, убеждая себя, что только она способна вернуть ему цвет и смысл жизни. Но однажды она исчезает. Уверенный, что её похитили, главный герой отправляется на её поиски в лес - место, которое постепенно становится его новым домом. Он остаётся там, день за днём пытаясь найти следы похитителя, восстановить события прошлого и понять, куда исчезла девушка, без которой он больше не представляет своей жизни. А когда он обнаруживает способ ненадолго заглушать «Фарбэн», грань между любовью, зависимостью и безумием окончательно стирается. «Фарбэн» - история о любви, зависимости и одержимости, в которой поиски исчезнувшей девушки становятся путешествием всё глубже в лес и в самого себя.

© Katser A., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1                           | 5  |
| Глава 2                           | 11 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 17 |

# Фарбэн

## Глава 1

Бывало ли с вами такое, что вы готовы душу отдать за любовь к человеку, чтобы он дышал, чтобы он смеялся, чтобы просто был, а вы бы лежали у его ног и считали это счастьем? Было ли это ощущение безнадежности, когда смотришь на любимого и понимаешь, что ничем, совсем ничем не можешь помочь, что руки твои пусты, а сердце бьётся так громко, будто пытается выскочить и само собой задушить ту боль, которую вы видите в чужих глазах? Любили ли вы недостатки так, что они становились великими, единственными, без которых человек уже не человек, а так, пустая оболочка? Готовы ли вы были убить за него — не в переносном смысле, а взять и убить, потому что кто-то посмел коснуться вашего? Вырвать руки тому, кто прикоснулся, выколоть глаза тем, кто засмотрелся, и не сожалеть, потому что это ваше, только ваше?

А ведь я умею любить.

Я открываю глаза и понимаю, что я не дома, что лежу я посреди леса, на холодной, уже успевшей отсыреть земле, и смотрю в пасмурное, тяжёлое небо. Я весь в грязи и в слякоти, одежда промокла, прилипла к телу, и я чувствую, как по спине течёт что-то холодное.

Что я здесь делаю?

Я поднимаю ладони перед лицом, смотрю на них и вижу: они стёрты в кровь, кожа содрана, под ногтями земля, и я не помню, совсем не помню, как я здесь оказался, да и, честно сказать, не желаю помнить, потому что если я начну вспоминать, то я вспомню, как моя любовь ушла от меня. А этого я не вынесу.

Я любил её, как Бог любит людей, без единого вопроса «за что?»; я любил её так, что если бы мне сказали: «Стань пнём, стань камнем, стань никем, лишь бы она дышала», — я бы стал никем. И после того, как мы расстались, мир стал чёрно-белым, и я не имею в виду какое-то там красивое сравнение из книг, нет, я имею в виду буквально: краски испарились, будто их и не было вовсе, будто всё то время, что я был с ней, мне подсовывали цветную картинку, а теперь сняли очки, и осталась только грязь.

Я поднялся, пошатываясь, и посмотрел на наручные часы, которые каким-то чудом не разбились и продолжали тикать. Стрелки показывали раннее утро, около восьми, но для меня, для человека, который не пришёл на работу и даже не позвонил, — это было уже позднее, очень позднее, почти вечернее время.

Возможно, я вчера заливался алкоголем, — начинаю я строить догадки, пока иду к выходу из леса, — возможно, я пил один, или с кем-то, и вспоминал глаза моей Милы, её глаза, которые были такими, знаете, что в них можно было утонуть по-настоящему.

Когда я наконец покинул этот тёмный лес, который находился недалеко от нашего старенького, почти забытого города, я направился домой, и знали бы вы, каково это — идти домой, зная, что тебя там больше не ждёт женская душа. Что никто не выглянет из кухни с вопросом «где ты пропал?», никто не поставит чайник и не скажет «садись, я сейчас», а вместо этого — мёртвая тишина.

Войдя в старенькую, пыльную квартиру, я увидел, что так и не собрал свои разбросанные стихи про любовь, они лежали на полу, на столе, на подоконнике, некоторые были скомканы, некоторые разорваны, но ни один не выброшен, потому что выбросить стих про неё — это всё равно что выбросить часть неё самой, а я на это не способен. И я подумал, стоя посреди этой комнаты: ведь чтобы выразить мою любовь, недостаточно одних листов бумаги, даже если

исписать их все, от корки до корки. Недостаточно и мольбертов, на которых я рисую свою любовь, сколько бы холстов я ни испортил, сколько бы красок ни смешал, пытаюсь найти тот самый оттенок её глаз, который я видел только однажды, когда она смотрела на меня и улыбалась, а потом больше никогда; не хватит слов, никаких слов, даже если собрать все словари всех языков и выучить каждое слово наизусть, чтобы потом сложить их в одну-единственную фразу, которая скажет всё, — не получится, потому что любовь не укладывается в слова, она живёт между ними, в тех самых промежутках, где мы молчим. И даже если бы я умел играть на фортепиано, а я не умею, и слава богу, потому что это была бы ещё одна попытка, — даже тогда, перебирая все восемьдесят восемь клавиш, я бы не смог выразить эту любовь, потому что музыка кончается, а любовь нет. И не хватит никакого красного вина, чтобы затмить мои мысли о ней, я пробовал, поверьте, я пробовал и дешёвое, и дорогое, и то, которое пьют только на юге, глядя на море и думая, что жизнь прекрасна, — но вино заканчивается, а мысли остаются, и они убивают сильнее любого алкоголя.

Но дело не только в этом, не только в любви, которая, как я теперь понимаю, не лечит, а калечит. Я болен не только ею, не только этой сладкой, мучительной болезнью, которую называют именем, — я болен ещё и буквально, по-настоящему. У меня опухоль, она внутри, и она развивается всё сильнее и сильнее, с каждым днём, с каждым часом, с каждой минутой, которую я провожу без неё, — опухоль покрывает меня с ног до головы, и я чувствую, как умираю, но не физически, нет, физически я ещё крепок, я могу ходить, говорить, даже улыбаться тем идиотам на работе, которые не знают, что такое настоящая боль, — я умираю душевно.

А ещё, — и это меня бесит больше всего, — ещё врачи заставляют меня посещать психиатра. Зачем? Зачем эти нелюди, которые ни разу в жизни не любили, наверное, даже кошек не любили, потому что если бы любили, то не были бы такими спокойными и рассудительными, — зачем они меня туда отправляют? Я прихожу в этот кабинет с жёлтыми стенами, сажусь на стул, и смотрю на человека, который делает вид, что ему интересно, что у меня внутри, хотя ему на меня наплевать, как и всем остальным. «Расскажите о ваших отношениях», — говорит он, а я смотрю на него и думаю: ты не поймёшь, ты не сможешь понять, потому что ты не любил так, как люблю я. Ты не знаешь, что значит быть больным любовью, потому что для тебя любовь — это химия, это гормоны, это что-то, что можно объяснить и вылечить таблетками. А я не хочу лечиться. Я хочу её. И не нужны мне никакие психиатры, потому что я полностью здоров.

Сегодня я снова должен посетить своего психиатра, он сам вызвал меня, не я к нему напросился. А хожу я к нему, ведь ещё моя Мила этого захотела, когда мы были вместе, — и я пошёл, потому что для неё я готов был на всё, даже на это унижение. А сейчас хожу потому, что просто не могу уйти оттуда, врачи — гниды, они не отпускают, уж очень я им понравился, наверное, я самый интересный пациент за всю их скучную карьеру, тот самый случай, про который они рассказывают коллегам за ужином, понижая голос и закатывая глаза.

Я сажусь на своё обычное место — на стул, что стоит напротив окна, чтобы видеть улицу, и не смотреть на его лицо, потому что если я буду смотреть на него, я, пожалуй, не сдержусь и скажу всё, что думаю об этой псевдонауке и о нём лично. Он садится напротив, кладёт блокнот на колено, берёт ручку и смотрит на меня взглядом, который должен означать «я здесь, чтобы помочь», а на самом деле означает «ну, давай, рассказывай, я посмеюсь внутри себя».

— Как ваше самочувствие, Орест?

— Всё отлично, — отвечаю я, и улыбаюсь, так, чтобы он увидел все мои зубы и подумал: «да, этот парень действительно в порядке». — Разве вы сами не наблюдаете, что я в хорошем настроении? Я сегодня выспался, я поел, я пришёл вовремя, что ещё нужно человеку для счастья?

Со всеми людьми, знаете ли, я стараюсь общаться положительно, не показывая своей неприязни к ним, потому что зачем мне нужны лишние проблемы? Мир и так слишком тяжел, чтобы ещё и ссориться с каждым встречным. Я давно понял одну простую вещь: если ты улы-

баешься, тебя не трогают, если ты соглашаешься, тебя оставляют в покое, если ты говоришь «да, вы правы», то человек отворачивается и идёт мучить кого-то другого. Главное, чтобы все видели во мне идеал в общении, чтобы никто не заподозрил, что у меня внутри.

— Спите как?

— Сплю отлично, — говорю я.

Сны у меня действительно хорошие, очень хорошие, я бы даже сказал — лучшие в моей жизни, — снится мне всегда моя прекрасная девушка.

— Ничего плохого не снится? — уточняет он.

Я улыбаюсь ещё шире и отрицательно мотаю головой.

— Да как же такому хорошему человеку, как я, могут сниться кошмары? — отвечаю я и смотрю ему прямо в глаза. — Я добрый, очень добрый, я никогда никому не сделал ничего плохого, я только люблю, и разве за это судят? Разве за это вызывают к психиатру?

Он молчит несколько секунд, потом перелистывает страницу в своём блокноте и продолжает:

— Расскажите, как у вас с аппетитом?

— Аппетит хороший, я даже поправился немного, если вы заметили.

Хотя на самом деле я почти ничего не ем.

— Как проводите свободное время? Есть ли у вас хобби, занятия, которые приносят удовольствие?

— Я пишу стихи, — отвечаю я. — И рисую, и гуляю, и вообще я человек творческий, скучать не привык.

— Поддерживаете ли вы контакты с друзьями, с семьёй? Как часто выходите из дома, кроме работы и визитов ко мне?

— Друзья? — я усмехаюсь, но быстро прячу усмешку за доброй, понимающей улыбкой. — Друзья у меня есть, конечно, но все заняты, у всех свои дела, не хочется отвлекать. А из дома выхожу регулярно, каждый день, и даже в лес иногда выбираюсь — подышать свежим воздухом, знаете, от городской суеты отдохнуть. Врачи говорят, свежий воздух полезен для головы, правда? Вот я и дышу.

Я знаю, что он пишет в своём блокноте, он пишет: «пациент упоминает лес». И это не нравится мне, совсем не нравится.

— Бывают ли у вас резкие перепады настроения? — продолжает он. — Чувствуете ли вы себя подавленным, тревожным, раздражительным без видимой причины?

— Что вы, — отвечаю я. — Я человек очень уравновешенный, меня даже коллеги называют «наш кремень», потому что я никогда не срываюсь, никогда не повышаю голос, я спокоен как удав, и тревога мне незнакома. Правда, иногда бывает немного грустно, но это же нормально, правда? Все люди иногда грустят, особенно когда за окном дождь.

— Принимаете ли вы назначенные препараты регулярно? Не было ли побочных эффектов?

— Регулярно, как по часам, — говорю я, хотя на самом деле я выбросил половину в мусорное ведро на прошлой неделе. — Побочных эффектов не замечал, всё переносится хорошо.

— Возникали ли у вас мысли, что жизнь не имеет смысла? Что вы никому не нужны?

— О нет, жизнь имеет огромный смысл, и я нужен многим людям, я нужен на работе, я нужен своим родственникам, и даже вам, наверное, я нужен, раз вы меня вызвали, верно? Смысл есть всегда, просто его надо уметь видеть. А я умею. Я вижу смысл в каждом новом дне, в каждом дереве, в каждом облаке, что проплывает за окном.

Он откладывает ручку и смотрит на меня долгим, тяжёлым взглядом. Я выдерживаю этот взгляд, потому что я сильнее.

— Хорошо, Орест, — говорит он наконец. — На сегодня достаточно. Мы увидимся через три дня. Если что-то вас беспокоит — звоните в любое время.

Я встаю, пожимаю ему руку, улыбаюсь ему в последний раз, киваю и выхожу в коридор.

У меня, знаете ли, с памятью достаточно плохо, иногда бывают провалы. Поэтому я даже не понимаю толком причины, по которой посещаю психиатра, — мне сказали «надо», и я хожу, потому что Мила когда-то сказала «надо», а теперь уже просто по инерции, не задавая себе вопроса «зачем?». Да и на мои вопросы он, этот психиатр, часто отказывается отвечать, отделяется общими фразами вроде «мы работаем над этим» или «давайте вернёмся к этому позже», а когда я спрашиваю прямо: «Скажите, у меня что-то серьёзное? Почему я здесь?», — он смотрит на меня и говорит: «Орест, вы сами знаете ответ», — но я не знаю, вот в том-то и дело, что не знаю.

Я вышел из больницы, и направился к ларьку за сигаретами, потому что без сигарет мысли становятся слишком громкими, а с сигаретами они хотя бы чуть-чуть притихают. И вот я подхожу к окошку, вижу продавщицу — женщину средних лет с усталым, каким-то даже обиженным лицом, будто весь мир должен ей, — и во мне просыпается то самое, что я называю своей добротой, хотя, возможно, это вовсе не доброта, а просто нестерпимое желание сделать хоть кого-то чуть-чуть счастливее.

— Прекрасно выглядите, — говорю я продавщице и улыбаюсь. — Вам идёт этот цвет, знаете? Он делает вас моложе лет на десять, честное слово.

Она смотрит на меня недовольно, даже с каким-то отвращением, будто я не комплимент ей сделал, а плюнул в лицо, и это вызывает во мне раздражение, потому что я же хочу как лучше, я же стараюсь, я же протягиваю руку, а в ответ — ноль.

— Что-то плохое случилось у вас? — спрашиваю я, наклоняясь чуть ближе к окошку. — Радуйтесь жизни, она всего одна, понимаете? Всего одна, и она проходит мимо вас, пока вы недовольно смотрите на людей. Улыбнитесь, впустите в себя хоть каплю света, и вам станет легче, я обещаю.

Она ничего не отвечает, только молча пробивает пачку, и её пальцы — сухие, с обкусанными ногтями — так и говорят: «отвяжись, человек, не мешай мне доживать свою жизнь в этом ларьке, я не просила тебя меня спасать». Потом она называет сумму, которую я должен заплатить, и я протягиваю ей монеты.

— Хорошего дня, — говорю я, забирая пачку, и снова улыбаюсь. — Не грустите, слышите? Всё будет хорошо, просто поверьте мне. Я плохого не посоветую.

Выхожу, и делаю первую затяжку, и думаю: неужто людям сложно ответить добром на добро? Неужто так трудно улыбнуться в ответ, сказать «спасибо», хотя бы просто кивнуть, показать, что ты не один в этой вселенной, что вас двое и вы оба живые? Она смотрит на меня будто я отродье, будто я та самая тварь, что должна сдохнуть под забором, и никто не придёт её хоронить, и даже вороны не слетятся, потому что им будет противно. Ну уж нет, думаю я, затягиваясь снова, — я эту жизнь раньше этой продавщицы не покину, во мне добра больше, Бог меня больше уважает, я ещё покажу всем, что такое настоящая любовь и настоящая доброта, я ещё заставлю их всех улыбнуться, даже если для этого придётся вырвать каждую улыбку зубами из их чёрствых, неблагодарных глоток.

И тут, когда я уже почти успокоился, я поднимаю глаза и вижу в конце улицы её, стоящую спиной ко мне. Её силуэт, её плечи, её волосы, и я узнаю её не по каким-то там приметам, а всем телом, потому что моё тело помнит её лучше, чем моя голова помнит своё собственное прошлое. Я бросаю сигарету — она даже не успевает упасть, я уже бегу, отталкивая прохожих, которые шарахаются в стороны и что-то кричат мне вслед, мне абсолютно всё равно, потому что она там.

— Мила! — кричу я. — Мила, подожди!

Она не оборачивается, не делает даже шага в мою сторону, а только сворачивает в переулок. Я бегу быстрее, перепрыгиваю через лужу, задеваю плечом какого-то мужчину в сером пальто. Я добегаю до угла, резко поворачиваю, смотрю в переулок — и там пусто. Никого.

Я опустил руки — они повисли вдоль тела, — и едва не рухнул на колени от бессилия. Как же я мог упустить её? Как я мог позволить себе так облажаться, так промедлить, не добежать каких-то жалких десяти метров, которые отделяли меня от счастья? Я ведь мог догнать, коснуться её плеча и сказать: «Мила, прости, я больше не буду таким, я всё исправлю, только не уходи», — и она бы обернулась, она бы посмотрела на меня своими зелёными глазами, и мир снова стал бы цветным, и всё бы встало на свои места, и не было бы никакой опухоли, никаких психиатров, никаких провалов в памяти, а была бы только она и я, и этот её любимый, дурацкий яблочный пирог. Но я не догнал.

Я поплёлся домой, волоча ноги, — чтобы рисовать её лицо, лишь бы вспоминать её хотя бы так. Рванул в квартиру — это я громко сказал «рванул», на самом деле я просто открыл дверь, скинул ботинки, даже не глядя, куда они упали, и сразу, не раздеваясь, бросился к углу.

Я сразу набросился за краски, — и начал выводить её лицо, но не гладко, не аккуратно, не так, как учат в художественных школах, а грубо, будто я не рисовал, а выпарапывал её. Я рисовал лес, в котором мы гуляли, который теперь снится мне каждую ночь, только в моих снах он цветной, зелёный, а на холсте он выходил каким-то мрачным, будто деревья не росли, а корчились в агонии. Я вырисовывал её лицо быстро, потому что если я буду медлить, если я начну выводить каждую чёрточку с той любовью, с какой она этого заслуживает, то я не закончу никогда, а мне нужно закончить, мне нужно увидеть её, пусть даже на холсте.

Я разливал краски, они растекались по полу, смешивались в какие-то грязные, болотные лужи. Я выбрасывал кисти, на которых щетина уже рассыпалась, и брал новые, и снова выбрасывал, потому что ни одна кисть не могла передать того, что я чувствовал, ни одна не была достаточно мягкой для её щёк и достаточно жёсткой для того мира, в котором я живу без неё.

И я плакал. Горько плакал, пока рисовал, не вытирая слёз, которые капали прямо на холст, смешиваясь с красками и разъедаая их, оставляя странные, мутные пятна там, где должна была быть её кожа. Я вырисовывал пальцами её черты лица — просто макал пальцы в краску и водил по холсту, потому что пальцы чувствуют то, чего не чувствуют кисти. Я выводил её глаза — зелёные, как лес, в котором мы когда-то целовались под дождём. Я рисовал нежность её рук — ту самую нежность, которая грела мою душу в самые холодные ночи, когда я лежал рядом с ней. Я вспоминал её улыбку — ту, которая меня чаровала, которая делала меня слабым, беззащитным, счастливым, ту улыбку, ради которой я готов был убить, украсть, предать, разрушить всё, что только можно разрушить, лишь бы она не гасла. И цвет её волос — цвета солнца, но не того солнца, которое светит всем одинаково, а того, которое светит только мне.

Мир за окном тем временем темнел, и краски на полу сохли, пальцы мои саднили от скипидара, и я не чувствовал ничего, кроме этой огромной, неподъёмной любви, которая давила на грудную клетку так сильно, что казалось — ещё минута, и сердце выпадет прямо на этот недописанный портрет, и зальёт его кровью.

Я взял нож, что лежал на кухне, и не задавая себе глупых вопросов вроде «зачем?» или «стоит ли?», полоснул по ладони. Кровь выступила сразу, живая, яркая, такая непохожая на все те краски, которые я только что разливал по полу. Я взял немного крови — прямо пальцами, не брезгуя собой, и нарисовал ею её губы, на этом холсте они должны были заговорить снова.

Чтоб картина полностью принадлежала мне, — подумал я, вдавливая кровь в холст, смешивая её с красной краской. Теперь картина будет моей, вся до последнего миллиметра, потому что в неё впиталась частица меня, и никто не сможет сказать, что эта работа чужая, что эта девушка нарисована бездушным ремесленником, который просто умеет держать кисть. Нет, эту девушку рисовал человек, который любил её так, что готов был резать себя, лишь бы сделать её красивее.

И когда картина была закончена — когда я поставил последнюю, самую жирную точку, откинулся на стуле и посмотрел на неё уставшими, покрасневшими от слёз и бессонницы глазами, — она оказалась настолько ужасна, что красива. Глаза вышли слишком большими, несо-размерными, зелёными до жути, до тошноты; губы — слишком алыми, почти чёрными от крови, которая успела засохнуть и потрескаться; волосы — жёлтыми; фон — этот проклятый лес — вышел каким-то тяжёлым, давящим, деревья тянулись к ней, будто хотели её схватить, утащить обратно в эту чашу.

Я сидел и смотрел на неё долго, пока за окном не стемнело совсем, и в какой-то момент мне показалось, что она на картине улыбнулась, чуть-чуть, одними уголками губ. И я заплакал снова, просто слёзы текли сами по себе, и я не вытирал их, потому что мне казалось — если я их вытру, то она перестанет улыбаться, а я не мог этого допустить, не мог, не имел права, ведь это всё, что у меня осталось.

## Глава 2

Опухоль развивалась с каждым днём всё сильнее. На работе я так же улыбался коллегам, улыбался той самой отточенной улыбкой, которую они все привыкли видеть, но улыбка эта сползала с моего лица, как только они отворачивались.

— Как ваши дела, Орест? — спросила коллега из соседнего отдела, с вечно озабоченным лицом, которая считает своим долгом интересоваться чужим благополучием, потому что своё у неё, видимо, давно уже кончилось.

— Всё потрясающе, — ответил я, разворачиваясь к ней, — очень даже отлично, даже лучше, чем отлично, я бы сказал, великолепно. А у вас как?

— Да ничего, потихоньку. Дети болеют, муж на второй работе, сами понимаете, жизнь такая.

— Понимаю, — кивнул я, и внутри меня всё сжалось от желания сказать ей что-нибудь колкое, чтобы она отстала, и больше никогда не задавала мне не нужных вопросов. — Детей надо лечить, это святое. Вы держитесь, главное — не раскисать.

Она улыбнулась, кивнула и ушла, а я смотрел ей вслед и думал: «Какие же вы все скучные, какие предсказуемые, даже жаловаться вы умеете одинаково, будто вас всех штампуют на одной фабрике». Но я не сказал этого, конечно, я промолчал, потому что зачем мне лишние проблемы? Я и так уже набрал их столько, что хватило бы на десятерых.

Работа с бумагами, с этими дурацкими, бесконечными бумагами, которые кто-то придумал, чтобы заполнять ими время людям, которые могли бы создавать, творить, но вместо этого сидят в душных офисах и перекладывают листы из одной стопки в другую. Я ведь гений, — подумал я, перебирая очередную пачку каких-то отчётов. — Я мог бы быть великим художником или писателем, моё имя могло бы стоять рядом с именами тех, кого изучают в школах и университетах, мои картины могли бы висеть в лучших галереях, а мои книги — лежать на прилавках и расходиться как горячие пирожки. А в итоге я работаю в офисе, и я настолько никчёмный, настолько ничтожный, что даже свою девушку потерял, даже её не сумел удержать, а ведь казалось бы — что может быть проще? Любил бы, носил на руках, пел серенады — и всё бы было хорошо. Нет, я умудрился облажаться и здесь.

Я отложил бумаги, потёр переносицу и решил: хватит, надо что-то делать, надо идти к начальнику, просить, требовать, умолять — что угодно, лишь бы мне добавили денег, потому что мне даже на продукты, честное слово, еле хватает, я считаю каждую копейку, я экономлю на всём, на чём только можно, а опухоль тем временем растёт, и на лекарства денег нет, и на нормальное обследование нет, и никто, конечно, не поможет, потому что кому какое дело до какого-то офисного планктона.

Я пошёл к начальнику, прошёл мимо таких же серых, как я сам, людей, и постучал в дверь, которая была чуть приоткрыта.

— Заходите, — услышал я.

Вошёл, и встал напротив стола, за которым сидел мой начальник с аккуратной бородкой и вечно прищуренными глазами.

— Не соизволите ли вы мне увеличить доход? — сказал я с той же улыбкой.

Я хотел заставить его поверить, что я не враг, не попрошайка, а просто хороший, исполнительный сотрудник, которому немного не везёт в жизни.

— Уж и прокормить себя не могу с такой зарплатой, сами понимаете, цены растут, а моя ставка стоит на месте уже два года. А ещё болею, сильно болею, очень сильно, а денег лечиться не имею, потому что всё уходит на хлеб и на коммуналку.

Он поднял на меня глаза, покрутил в руках карандаш, — потом поставил локти на стол, соединив пальцы домиком, и посмотрел на меня тем самым взглядом человека, который сейчас

скажет «нет», но обставит это так, будто он делает мне одолжение, будто он сам бы рад помочь, да обстоятельства сильнее.

— Неужто вы, Орест, прокормить себя не можете-то? — спросил он, и в голосе его прозвучала та самая притворная забота, от которой меня тошнило. — Выглядите вы вполне здоровым мужчиной, работаете нормально, не жалуетесь, не отпрашиваетесь. Да и где вы больны, позвольте спросить? Документов с подтверждением вашей болезни мне не предоставляли, а врать сотрудники, знаете, любят, особенно когда речь заходит о деньгах и о повышении. Это не недоверие, Орест, это политика компании, вы же понимаете.

— Совсем времени нет, чтобы забрать справки, — сказал я. — Понимаете, переживаю до сих пор расставание со своей девушкой, всё это на меня повлияло, я даже справки не могу собрать в кучу, потому что голова другим занята, сердце, простите за пафос, кровоточит, а вы говорите — документы.

— Сочувствую вам, — сказал начальник и развёл руками. — Честно сочувствую, но ничем помочь не могу. Руки связаны политикой, зарплатный фонд не резиновый, начальство сверху требует экономии. Вы, Орест, работайте, старайтесь, и, возможно, к концу года я смогу поднять вам процент, возможно. Если, конечно, останусь на своём месте и компанию не продадут китайцам.

Я улыбнулся ему в последний раз, кивнул, поблагодарил за время и вышел, закрыл за собой дверь, и прислонился лбом к прохладной стене коридора, и стоял так, наверное, минуту или две, пока не понял, что если я не двинусь с места — я упаду, прямо здесь. А я не хотел падать перед ними, не хотел, чтобы они видели меня слабым.

Закончив работу и выйдя из офиса, я остановился на крыльце, глубоко вздохнул, пытаюсь выдохнуть из себя весь этот офисный смрад, и тут, на другой стороне дороги, я увидел Профессора ботаники, который вёл у моей Милы практику в университете, которого я знал, подзревал, ненавидел всей душой, хотя и не имел, казалось бы, никаких прямых доказательств. Но доказательства мне были не нужны — я чувствовал всем телом, что он к ней всегда подкапывал, флиртовал, задерживался после пар под каким-нибудь ничтожным предлогом, всегда норовил оказаться рядом, помочь, объяснить, показать, подсказать, и в каждом его взгляде я читал одно: он хотел забрать её у меня, хотел украсть, увести, отнять, а может, уже и отнял, может, именно из-за него она и ушла, именно из-за этого старого, бородатого, ещё, наверное, не потерявшего своей академической привлекательности профессора, который знает названия всех трав и цветов, но не знает, что такое настоящая, выматывающая до крови любовь.

Я почувствовал, что желаю поговорить с ним, — нет, не желание даже, а какая-то животная, непреодолимая потребность. Может, он расскажет мне, как там моя Мила, может, обмолвится словом, бросит невзначай: «Ах да, Мила передавала привет» или «Она часто вспоминает вас», — и этого мне будет достаточно, чтобы прожить ещё один серый, бессмысленный день. Я подбежал к нему, перебежав дорогу, даже не посмотрев по сторонам, чудом не попав под какую-то старенькую, дребезжащую машину, и почти налетел на него сзади, держа в одной руке рабочую сумку, а другой придерживая шляпу.

— Доброго вечера, — сказал я. — Как ваша работа, профессор? Как успехи на ботаническом поприще?

Он обернулся, посмотрел на меня поверх очков — очки были старомодные, круглые, в тонкой металлической оправе.

— Доброго вечера, — ответил он не сразу, выдержав паузу, которую я счёл оскорбительной. — А с кем я имею честь говорить, простите? Лицо ваше мне будто бы знакомо, но вот имя... имена, знаете ли, вылетают, особенно когда их много.

— Я мужчина вашей ученицы Милы, — сказал я, и голос мой чуть дрогнул, когда я произнёс её имя. — То есть бывший мужчина, если быть до конца точным. Мы расстались недавно,

но я, понимаете, всё ещё переживаю, всё ещё хочу знать, как она. Хотел поинтересоваться, как она, как её дела, как здоровье, как учёба, как вообще жизнь без меня.

Профессор открыл рот, чтобы что-то ответить, но тут я почувствовал на своём плече чужую ладонь — кто-то взял меня за плечо. Я резко развернулся и увидел перед собой мужчину — средних лет, в тёмном пальто.

— У вас всё в порядке? — спросил он.

— Конечно, — ответил я, улыбнувшись. — А что может быть не так? Я разговариваю с человеком, солнце ещё не село, воздух свежий, поводов для беспокойства, мне кажется, нет никаких.

Незнакомец задержал на мне взгляд на секунду дольше, чем следовало, потом кивнул — и пошёл дальше, и я смотрел ему вслед, пока он не смешался с потоком других таких же серых, безликих фигур, и только тогда снова повернулся к профессору.

— Простите, — сказал я, поправляя шляпу. — Вечно эти добрые люди лезут не в своё дело. Так вот, я хотел спросить о Миле.

Профессор Поспелов — я вспомнил его фамилию, — поправил очки, кашлянул в кулак и заговорил преподавательским тоном, каким читают лекции студентам.

— Мила в полном порядке. Очень способная студентка, между прочим, одна из лучших на моём курсе. Часто занимается практикой, показывает отличные результаты, не жалуется, не отпрашивается, посещает все занятия. А теперь, молодой человек, прошу вас меня отпустить, потому что я должен идти. Отдых, понимаете ли, тоже нужен даже старым профессорам, которые всю жизнь посвятили изучению флоры средней полосы.

— Да-да, конечно, спасибо вам большое, — затараторил я. — Спасибо, что уделите время, извините за беспокойство, я просто, понимаете, очень...

Я протянул руку, чтобы пожать его ладонь. Но профессор Поспелов уже повернулся и пошёл прямо, — его спина, сутулая, в старомодном пиджаке, мелькала между прохожих и становилась всё меньше, всё дальше, пока не исчезла за углом, оставив меня одного на тротуаре с протянутой рукой.

И тогда я обернулся в сторону леса — и в тот же самый миг серый, унылый, дохлый мир начал приобретать краски, да не просто начал, а ударил в глаза такой волной цвета, что я зажмурился на секунду, испугавшись, что ослепну, что мои глаза, отвыкшие от зелёного и синего и жёлтого, просто не выдержат и лопнут. Потому что я увидел её: она шла в сторону леса, — и она была такой яркой, что всё остальное вокруг тоже начало приобретать цвет, будто она красила мир не только для себя, но и для всего, на что падал её свет. Деревья стали зелёными, небо — синим, трава под ногами — изумрудной, а её платье — белым, ослепительно белым, и я чувствовал, как ментально мне становится легче, как моя опухоль, эта пожирающая меня изнутри тварь, ослабевает.

Я побежал в сторону этого леса, сломя голову, не разбирая дороги, не глядя под ноги, не думая ни о каких лужах и корнях, — я просто бежал, и чем ближе я становился к ней, тем невыносимее прекрасными становились краски.

Мила продолжала идти напрямиком в лес, не оборачиваясь, и я забежал за ней в лес, — и в тот же миг, как только кроны деревьев сомкнулись над моей головой, я перестал её видеть. Она исчезла. Просто исчезла, будто её и не было, будто весь этот цветной, живой мир был лишь галлюцинацией, кратким помешательством больного мозга, который решил, надо мной подшутить.

Я безнадёжно бросил сумку прямо в грязь. Краски снова стали пропадать, и весь лес, ещё минуту назад такой зелёный, живой, дышащий, снова стал серым. Я оглядывался нервно по сторонам, дёргал головой, всматривался в каждое дерево, в каждый куст, в каждый просвет между ветвями, но не видел ничего, кроме грязи, деревьев и собственного отчаяния.

И тогда, в полном безнадеежии, когда я уже был готов лечь на эту холодную землю и закрыть глаза, чтобы больше никогда не видеть этого мира, я достал небольшой кинжал из своей сумки, и подошёл к ближайшему дереву с грубой корой. Я стал выгравировать её черты лица на дереве. Занозы вбивались в ладони, и я чувствовал, как они входят в кожу, но я не останавливался, а наоборот, давил сильнее, вгрызался лезвием в дерево, выцарапывал глаза, губы, линию скул, всё, что помнил, всё, что не мог забыть, и кровь из моих ладоней смешивалась с истекающим соком дерева.

Я проговаривал свои стихи, что писал ночами, которые рвал и переписывал заново, которые не решался прочитать никому, даже ей, а теперь выкрикивал их в пустоту, и выгравировал их рядом с портретом на дереве, выводя каждую букву, для меня эти стихи были священными, единственной молитвой, которую я ещё умел читать. Я хотел, чтобы она прочитала эти стихи, чтобы она увидела их, вырезанные на коре, чтобы поняла наконец, насколько сильно я в ней нуждаюсь, но никто не читал моих стихов, кроме меня самого.

Ни лес, ни чья рука тебя забрать не сможет,

Навеки ты моя, как шрам на роже.

Я на колени встать готов, как скот,

И руки им целую, чтоб до дрожи

Они запомнили, кому принадлежат,

Чьи пальцы в грязи, чьи глаза незрячи.

Я уничтожу всех, кто рядом смел дышать,

Кто на тебя смотрел — и стану зрячим.

Заставлю головы склонить, как псам,

Без уваженья, мордой в грязь на пол.

Я уничтожу всех, кто смел хотеть

Того, что мне давалось только болью.

Я знаю, ты им нравилась, как тварь,

Которую им хочется до крови,

Но я им дам покой — и этот дар

Не отниму, как не отнял любви.

Я каждый день таскаю на спине

Тот день, когда ты стала просто прошлым.

Они смотрели на тебя, скоты,

Они дышали в сторону святого,

А я скулил у края пустоты

И выгрызал тебя у остального.

Я вырежу из памяти любой

Твой взгляд, что был подарен не по праву,

Я захлебнусь своей большой любовью,

А их захоронить — моя забава.

Я прижался лбом к дереву, к этому вырезанному лицу.

— Эй!

Я резко оторвался, но не обернулся сразу, нет, я просто уставился на портрет, который только что выгравировал, совсем не хотелось оборачиваться на этот мужской голос, который ворвался в моё одиночество.

— Ты что тут делаешь? — продолжил этот мужчина.

Я медленно развернулся, и увидел парня, которого знал уже очень давно, с самой моей учёбы в университете, хотя видел его, пожалуй, в последний раз ещё при Миле. Это был друг моей Милы — Том, так его звали, Том, короткое, глупое, какое-то нерусское имя. Он мне всегда не нравился, с первого дня, когда Мила представила нас друг другу и сказала: «Это мой хороший друг, мы учимся вместе», — а я посмотрел в его глаза и прочитал в них то самое, что читал потом в глазах профессора Пospelова: желание, зависть, тайную, плохо скрываемую надежду на то, что однажды, когда я споткнусь, он будет рядом, чтобы занять моё место.

— Это ты что здесь делаешь? — спросил я. — Неужто Милу мою отыскивал? Не терпится тебе, дружок, покрутиться там, где тебя не просили?

— Мила здесь часто ходит, — ответил он спокойно, — как и я. Мы иногда гуляем вместе, если у неё есть настроение и время. Лес ей нравится, она говорит, что здесь можно думать, что здесь никто не мешает.

— С каких это пор, — перебил я, делая шаг вперёд, — моя девушка шастает по лесу да ещё и с тобой, Том? С каких это пор вы сделали такими близкими, что гуляете вдвоём по таким местам, где ни души, ни одного свидетеля?

— Нравится ей, — ответил Том, не отступая, но и не приближаясь, — и пугает одновременно этот лес. Она так и говорит: «Страшно мне здесь, Том, но почему-то тянет, не могу объяснить, тянет, и всё». Вот я и хожу с ней, чтобы одной не было страшно. Друзья же для чего-то существуют, ты не находишь?

Том посмотрел по сторонам, оценил лес — его взгляд скользнул по деревьям, по грязи, по брошенной сумке, которую я так и не поднял, — а потом он посмотрел мне за спину, где на грубой старой коре еще не успела засохнуть моя кровь, где её лицо смотрело в пустоту израненными глазами.

— Милу выгравировал? — спросил он наконец, и голос его стал тише. — Красивая очень девушка. Ты, я смотрю, талантливый, хоть и грубо вышло, но зато от души.

— Да, красивая, — протараторил я, и язык мой запутался в этих простых словах. — Не думай даже на неё глаз положить, понял меня? Не думай, не засматривайся, не дыши в её сторону. Она моя, была моей, и останется моей, даже если вы все будете ползать вокруг неё на карачках и предлагать луну с неба.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.